

ILLiad: 680031

491.705 RUSI  
STX

BW

ILL Number: 27201344



**Borrower: MDY**  
Middlebury College  
Starr Library-ILL  
15 Old Chapel Road  
**Middlebury, VT 05753-5003**

Serial Title: Russian studies ; RS = Etudes russes.

Article Author:  
Article Title: Olga Matich; "Diaspora kak ostranenie;  
Russkaia literatura v emigratsii" [Diaspora as  
Defamiliarization; Russian Literature in Emigration],  
Imprint: Sankt-Peterburg ; 'Pushkinskii? fond', 1

Volume: 2 Issue: 2 1996  
Month/Year: Pages: ~~not provided by author~~

OCLC/Docline: 32338266

Fax: 802-443-2074 Ariel: ariel.middlebury.edu  
Lender String: DRB,AMH,KKU,PIT,\*UIU  
Download Date: 20070205

179  
ARIEL

Regular  
Ship via: USA\$  
Charge  
Maxcost: \$30IFM  
Patron: Beyer, Thomas  
Reference:  
Email:

Shelf \_\_\_\_\_ Sort \_\_\_\_\_  
CI \_\_\_\_\_ Staff \_\_\_\_\_  
Cardex \_\_\_\_\_  
Other Loc/Notes \_\_\_\_\_

This article comes to you from:  
University of Illinois at Urbana-Champaign  
(UIU)

Initials/date 1<sup>st</sup> \_\_\_\_\_ Initials/date 2<sup>nd</sup> \_\_\_\_\_

LR  
2207

USA\$  
ARIEL PHOTOCOPY

# IRRC NOTICE!

*To serve you better in the future...*

On receipt of this article, please check for missing pages,  
truncated text, and blurry images. If any are found, **please note**  
**the problem on our ILLiad request form** and return it to us  
immediately.

Thanks,  
IRRC/ILL  
Univ of Illinois at U-C  
Ariel: libarlirc02.library.uiuc.edu  
Fax: 217-244-0398

ратурную деятельность Андрея Синявского в Советском Союзе. Избрав псевдоним Абрам Терц, под которым он тайно печатался за рубежом, Синявский реализовал цветаевскую метафору. (Абрам Терц — еврей-вор русского городского фольклора рубежа веков). Обогатив образ изгнанника криминальными чертами, Синявский повывсил цветаевскую ставку и закрепил за русским писателем тройное преступление: еврейское происхождение, публикации на Западе и преступную деятельность. Интерпретация литературного творчества как преступления, и даже как насилия, имеет многочисленные прецеденты в русской истории, особенно в радикальных кругах девятнадцатого века и в постсталинской диссидентской литературе. Александр Солженицын описал конфликт литературы и общества в России как столкновение двух правительств. По словам одного из персонажей романа «В круге первом», роль писателя в России — это роль второго правительства, функция которого — скинуть первое.

Хотя в русской культуре связь между писательством и изгнанием — проблема политическая, она имеет и литературно-теоретические импликации. Пожалуй, наиболее очевидным примером параллели между изгнанием и литературой является формалистское понимание литературы как острашения, выработанное Шкловским, который, живя в начале двадцатых годов в Берлине, сам помышлял об эмиграции. Функция литературы (утверждали формалисты) лежит в острашении автоматизированной картины мира, в обновлении художественного видения и художественного языка, достигаемом путем отделения искусства от стихий быта, отделения, напоминающего опыт эмигранта. Не случайно, что такое понимание литературы возникло в стране, где отношения между писателем и обществом всегда были взрывоопасны, а изгнание едва ли не необходимым элементом жизненного опыта писателя. Образ писателя как еврея и преступника, воплощенный в Терце, подчеркивает существование русского писателя вне общества, часто имеющее целью преобразование последнего. Физический облик Терца, которого Синявский описал красивым молодым вором с ножом в кармане, реально воплощает

О. Матич  
Беркли

### Диаспора как острашение (русская литература в эмиграции)

Тип сознания, связанный с изгнанием, обладает богатой историей. Архетипической метафорой экспатриации в иудео-христианской культуре является изгнание Адама и Евы из Рая. В классической литературной традиции образцовый экспатриант — Овидий, высланный из Рима Августом и оказавшийся среди чужих на отдаленных берегах Черного моря. Прототип национального изгнания, столь характерного для политической и культурной жизни двадцатого века, был задан изгнанием евреев из Палестины в первом тысячелетии до нашей эры и их последующими преследованиями. Наконец, уже изгнание поэта из республики Платона установило прецедент для такого распространенного явления как высылка писателей, практиковавшаяся со времен Французской революции.

Связь между физической экспатриацией и географией души объединяет все эти образы. Находясь психически по обеим сторонам границы, архетипический экспатриант обретает раздвоенное сознание. Символическое пространство экспатрианта в чужой земле — пространство «Поэты жида!» — восклицает Цветаева, проходя через пражское гетто, в «Поэме конца» (1924), написанной в эмиграции. Эти строки связывают литературное изгнание с иудейской диаспорой. Аналогичное метафорическое совмещение характеризует тайную лите-

концепцию литературы как острашения. Очевидно, что в литературной среде, в которой преобладал писатель-бюрократ, фигура Терца острашила образ советского автора.

Традиционные образы экспатриации, представляющие ее как языковую и психологическую травму, всегда выступали в русском контексте как основные метафоры опыта изгнанника. Тем не менее, с точки зрения теории острашения изгнанничество можно представить как состояние неустойчивого равновесия, при котором неизбежные потери компенсируются открытием новых ракурсов. Это стало особенно очевидно в последние годы, когда возникла новая парадигма диаспоры, поставившая под вопрос старую национальную или лингвистическую модель изгнания, в основе которой лежало ощущение лишения языка и родины. Опираясь на идею мирового гражданства и стирания национальных границ, новое изгнанническое сознание пытается нормализовать опыт пересечения географических и культурных границ, отдавая предпочтение состоянию пограничности в искусстве, если не в жизни вообще. Оно отражает постмодернистское и постколониальное бытие конца двадцатого века, возникшее в России после рапада Советского Союза. Гражданин мира не связан ни географией, ни родным языком, ни национальной культурой. Можно сказать, что в своем русском варианте он реализует чаадаевское определение России как страны без истории, с той разницей, что новый гражданин мира не испытывает мучительных сомнений по поводу своего неясного культурного происхождения, а спокойно принимает свою гибридность. Было бы интересно изучить жизнь таких новых людей в современной России, но в этой работе я буду говорить о русской диаспоре в рамках культурно-языковых проблем.

Метафорическое соотнесение литературной деятельности и изгнания получило историческую реализацию в экспатриации писателей, которая практиковалась в двадцатом веке в огромных масштабах. Не удивительно, что когда чрезвычайно большое количество литературных деятелей находится в эмиграции, изгнание тесно связывается с творческой активностью. Для Овидия, Данте или

Гейне экспатриация была личным событием. В двадцатом веке значительные части национальных литератур оказались изгнанными, в основном из тоталитарных государств<sup>1</sup>. Наиболее известными были эмиграции из военной Германии<sup>2</sup> и послереволюционной России и Советского Союза. Из всех эмигрантских литератур русская оказалась самой многочисленной. Первая волна покинувших страну в основном между 1917 и 1923 годами была самой большой и обыкновенно называется «старой» (или первой) эмиграцией<sup>3</sup>. «Вторая эмиграция» (фигурирующая как «новая» или «советская» в дискурсе «старых эмигрантов») покинула страну во время и после Второй Мировой войны. «Гретья волна» (также известная как «еврейская» в кругах «первой» и «второй» эмиграции) была фактом брежневской эпохи семидесятых и начала восьмидесятых годов<sup>3</sup>. Одновременное развитие внутренней эмиграции в Советском Союзе, обостряя обыкновенное для писателя пограничное положение между внутренним и внешним миром, привело к существованию с двойным языком и даже двойным мышлением.

Напряженные и сложные отношения между писателем и обществом и высылка интеллигенции и творческих деятелей имеет давнюю традицию в русской истории. Изгнанничество было образом жизни отдельных русских писателей со времени протопопа Аввакума. Автор первой автобиографии, Аввакум — первый русский писатель, обративший внимание на проблему раздвоенного сознания и раздвоенной культуры, проблему, лежащую в центре всех последующих обсуждений русского самосознания. В восемнадцатом веке изгнание выпало на долю Александра Радищева, первого русского «писателя-революционера», чья ссылка в Сибирь стала в истории русской литературы прецедентом сопредельности литературы и политики. Южная ссылка Пушкина и его последующая ссылка в Михайловское повлияли на создание мифов о кавказском и домашнем вариантах изгнания, двух важных формах официального исключения из русской литературной жизни. Большая часть произведений Пушкина была написана в условиях вынужденных отсутствий и навязанного одиночества. Такие классические произведения русской литературы как «Мертвые души»,

«Шинель», «Былое и думы», «Идиот», а также большая часть «Бесов» и поздние произведения Тургенева были написаны в диаспоре. К этому времени понятия эмигрантской литературы еще не существовало, а авторы этих произведений не были изгнаны из России, но по разным внешним и внутренним причинам они оказывались вне страны. Никто из них, кроме Герцена, не был постоянным экспатриантом, по меньшей мере потому, что политика выселки литераторов еще не была выработана. Она была впервые сформулирована в Советском Союзе в конце 1920-х гг. Это открыло новую главу в истории, разделив русскую литературу на советскую и эмигрантскую. Последняя получила роль меньшей сестры по отношению к сестре более удачливой. Это разделение было результатом падения железного занавеса, произошедшего между концом двадцатых и серединой тридцатых годов<sup>4</sup>. Оно было усилено возникновением в 1930-х гг. нового советского читателя, который радикально отличался от своего эмигрантского эквивалента в идеологическом и социальном плане. Именно возникновение советской читающей публики и ее писателей сделало будущее реинтеграцию двух ветвей русской литературы особенно трудной.

Многое известно о сложных путях публикации и с подавлением неблагонадежных произведений в Советском Союзе. Известны также некоторые факты о трудностях с публикацией своих произведений, которые испытывали авторы третьей волны на Западе (наши современники, они получили значительную долю общественного внимания на Западе в семидесятые и восьмидесятые годы). Но история подавления первой эмиграции в Европе и Америке практически неизвестна. Европейская культура радостно принимала русских композиторов, художников и русский балет с начала XX в. Сульба писателей-эмигрантов оказалась иной. В то время как Кандинский, Стравинский и Дягилев, если называть лишь наиболее известных, имели успех, Бунин (несмотря на Нобелевскую премию), Набоков, Цветаева, Ходасевич и Ремизов ощущали себя незамеченными. Одна из причин этому лежит в увлечении европейской интеллигенции советским экспериментом, особенно в тридцатые годы. Среди энтузи-

астов были Андрэ Жид (позднее сменивший вехи), Бернхард Шоу, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Томас Манн, Леон Фейхтвангер и Вальтер Беньямин. Результатом стало смешение всех авторов, покинувших Россию после Октябрьской революции, в одну категорию. На них смотрели как на жертв ностальгии по отжившему образу жизни, сметенному новым миропорядком. Французская интеллигенция, например, не желала их слушать, в общности — их рассказы о советском терроре. По словам Нины Берберовой, журналы либерального и левого направления принципиально отказывались печатать русских эмигрантов, а правые журналы оставались безразличны. В конце двадцатых годов Бунин и Бальмонт сделали попытку опубликовать во французской «большой» прессе анонимное письмо от группы советских писателей об ограничении свободы литературы в Советском Союзе. После многочисленных отказов им удалось опубликовать это письмо лишь в малоизвестном периодическом издании (*L'Avenir*, 1928). Их попытку осудил Ромен Роллан, организовавший кампанию с целью доказать фальсификацию письма (*Берберова* 1983:267–274). Глеб Струве рассказывал, что ведущий английский журнал отклонил в 1936 г. рассказ Набокова на основании политики журнала, не допускаяшей публикации писателей-эмигрантов. Когда в 1943 году роман Марка Алданова «Начало конца» (написан в 1936–1942 году и переведен под названием *The Fifth Seal*; действие романа происходит накануне Второй Мировой войны) был выбран клубом *Book-of-the-Month* как лучшая книга месяца, несколько представителей американской интеллигенции опротестовали это решение, ссылаясь на антисоветские взгляды писателя (*Струве* 1984:272)<sup>5</sup>.

Типичным примером маргинализации эмигрантской литературы в американской русистике служит первое издание книги Эдварда Брауна (*Вояжи* 1963), до сих пор являющейся общепринятым учебником истории после-революционной литературы. В этом издании эмигрантская литература оказалась не представленной. Правда, во втором издании (1982) были внесены изменения — кроме временных добавлений, была включена обширная глава об американской литературе, но ее большая часть все же

посвящена постсталинской эмиграции (Врюли 1982). За исключением Набокова и Ходасевича, значительно большая часть главы отведена Василию Аксенову, Юзу Алешковскому, Эдуарду Лимонову, Владимиру Максимову, Владимиру Марамзину, Саше Соколову, Александру Зиновьеву и, конечно, Солженицыну и Синявскому. Меньше внимания получили Бунин, Цветаева, Ремизов, Георгий Иванов и (из молодых) Борис Поплавский, а также вся плеяда старейших писателей — эмигрантов. Причина такого выбора не в политических взглядах покойного профессора Э. Брауна и лишь поверхностным объяснением является тот факт, что Э. Браун — исследователь советской, а не эмигрантской литературы. «Русская литература после революции» отражает характерную для культурной политики западного литературоведения тенденцию к пренебрежению эмигрантской литературой, типичную и для советской русистики<sup>6</sup>.

Старая эмигрантская литература до сих пор остается изгоем истории. Несмотря на риторические утверждения последних лет о безграничном единстве русской литературы и предпринимавшиеся в России в последние годы попытки реабилитировать эмигрантскую литературу, русское литературоведение остается раздвоенным. Идея единой русской литературы впервые возникла вскоре после смерти Сталина у нескольких ведущих представителей старой эмиграции. Эта идея часто получала выражение в географических метафорах. В 1954 году Глеб Струве писал, что «будущий историк будет, вероятно, рассматривать обе ветви русской литературы нашего времени в их лучших проявлениях, как неотъемлемую часть единой русской литературы» (Struve 1954: 406). В предисловии к своей истории первой эмиграции (Struve 1956) он повторил это утверждение, используя метафору реки: «Эта зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в главное русло. И воды этого отдельного, текущего за рубежами России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению главного русла, чем воды внутрироссийские» (Struve 1984: 7). Владимир Вейдле, литературный критик и историк искусства из старой эмиграции, в 1978 году заявил, что

настоящего разделения литературы никогда не было: «Воссоединение тем более неизбежно, что ведь разделение никогда не прямиком по черте оседлости не шло, топографическому принципу те — там, эти — здесь полностью не подчинялось. Что такое русская литература двадцатого века, на это не может в отдельности ответить ни зарубежье, ни СССР» (Вейдле 1972: 10). Вейдле отверг картографирование русской литературы на основе политической географии; также поступил Струве. В 1978 году в Женеве состоялась конференция под названием «Одна или две русские литературы» (Нива 1981), в которой участвовали представители первой и третьей эмиграции; лосанджелесская конференция «Третья волна: Русская литература в эмиграции» в 1981 году открылась писательским круглым столом на тему «Одна или две русских литературы» (Matich 1984). Писатели и критики на обеих конференциях настаивали на существовании единой русской литературы, основывая свою позицию на утверждении Ходасевича, что национальный характер литературы определяется языком и духом, не географией и бытом.

Несмотря на заявления Струве и Вейдле о желательности единой русской литературы, ответственность за сегрегацию ее эмигрантской ветви лежит и на членах первой эмиграции, а не только на сталинском и западном литературных истеблишментах. Сам Струве — хороший пример этому. Наряду с пока единственной историей эмигрантской литературы первой волны, он написал и энциклопедический обзор советской литературы для англоязычной аудитории<sup>7</sup>, который до появления истории Брауна лежал в основе преподавания советской литературы в американских университетах. Исследовательский интерес Струве к советской литературе и его эмигрантское происхождение, казалось, могли бы позволить ему свести в единой истории метропольную и эмигрантскую ветвь русской литературы XX в.; и тем не менее, он не сделал попытки такой интеграции. Это была бы мону-ментальная задача, но, вероятно, были и другие причины, удержавшие его от такой попытки. Рассмотрение эмигрантской и советской литературы в едином контексте потребовало бы пересечения культурных границ и повлекло бы за собой политические компромиссы, к кото-

рым эмигрантская культура была не готова. Другими словами, как Струве, так и Вейдле привлекал не реальный пересмотр границ, а область фантазии, нашедшая выражение в метафорах грандиозных речных проектов, странно напоминающих советские утопические проекты поворачивания рек. Характерен и тот факт, что две истории Струве были написаны и опубликованы на разных языках: книга о советской литературе вышла только по-английски, на одном из иностранных языков русской диаспоры, а обзор эмигрантской литературы — только порусски, на его родном языке. Хотя для такого лингвистического раздвоения наверняка были практические причины, его символическое значение поражает.

Но если все стороны согласны в желательности единой русской литературы, почему мы продолжаем наблюдать ее раздвоение? Задача объединения выдвигает сложные и разнообразные требования, в числе которых нелегкое требование переосмысления литературного канона и еще более трудное — выработки нового дискурса истории русской литературы двадцатого века. В западном контексте изучения русской литературы существует еще и сложная «проблема двадцатого века», который для некоторых исследователей старших поколений заканчивался на двадцатых годах. Во многих американских университетах студентам предлагают лишь один обзорный курс по русской литературе XX в., изучаемой в английском переводе; также обстоит дело и с литературой XIX в. Но если сравнить количество первоэрированных поэтов и прозаиков двух веков, подавляющее численное превосходство останется за двадцатым. Если учесть, что взгляд многих исследователей на литературный канон определяется преподаванием, станет вполне понятной невозможность его обогащения, так как в курсе по XX в. просто практически невозможно включить авторов-эмигрантов, за исключением Набокова, из-за их большого числа. При решении, кого из авторов исключить из курса, первыми выпадают старые эмигранты, а потом и современная литература по обе стороны границы. Исходя из настоящего состояния экономического рынка (сейчас наблюдается угрожающее понижение интереса к России), ясно, что американская академия не

сможет способствовать объединению двух рек истории русской литературы.

Важнее этих внешних проблем то, что русские по обеим сторонам границы в процессе близкого общения и взаимодействия приходят к выводу о существовании значительных различий между людьми Советского Союза и остатками старой эмиграции. Ходасевич и другие критики не смогли полностью осознать того, что их советские коллеги, особенно начиная с тридцатых годов, выработали новый культурный дискурс, чуждый, если не совершенно непонятный, дореволюционному поколению. Когда представители двух ветвей встретились в семидесятых годах на Западе, в эмиграции, они не повелись друг другу — несмотря на то, что у них был общий враг — советская система. Выяснилось, что проблема была не в географии, а в культурном наследии и в стиле.

\* \* \*

В национальном смысле изгнание представляет собой языковую травму. В контексте модернизма литература становится для автора домом, заменяющим родную языковую среду<sup>8</sup>. Принято считать, что, несмотря на отдельные исключения, писатель не может отвергнуть свой родной язык, не теряя при этом своего культурного сознания. Истезновение родного языка из ежедневной жизни делает человека неполноценным. Заброшенный, оказавшийся между двумя языками и культурами, писатель-изгнанник не может найти слов для выражения своих чувств. Это имело ввиду Пастернак и другие русские авторы, оставшиеся в Советском Союзе, когда умерждали, что жизнь за пределами России была бы равносильна смерти. «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать» (*Берберова* 1983: 252), было, по словам Нины Берберовой, реакцией Ходасевича на жизнь в эмиграции. Проявляя романтическое отношение к изгнанию, набоковский Цинцинат выражает свою языковую изоляцию через социализм: «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека» (*Набоков* 1988: 287).

В «Бледном огне» языковые муки изгнания преодолены фантазией: герой-экспатриант предпочитает сумасшествие — боли изоляции и создает фантастическую страну, в которую стремится и где он может властвовать в своем воображении. Иосиф Бродский интерпретирует языковые импликации изгнания как кастрацию и возвращение в материнское чрево: «Писатель-экспатриант отступает, или оказывается насильно возвращен в язык своей матери. Иными словами, из меча, язык превращается в щит, в капсулу. То, что началось как интимный роман с языком, в изгнании превращается в судьбу — еще до того, как стать одержимостью или долгом» (*Brodsky* 1988: 17).

Наряду с традиционными образами культурного, социального и, особенно, языкового лишения, изгнание ассоциировалось и с новым поэтическим видением, которое является результатом совмещения нового и старого жизненного опыта, создающего богатейший пласт культурных и литературных связей. В своем эссе о русской эмигрантской литературе Эдвард Браун заимствует истихотворения Ходасевича «Соррентинские фотографии» метафору «двойной экспозиции» для описания изгнаннического существования писателей-эмигрантов. По мнению Брауна, «Соррентинские фотографии» (и в целом цикл «Европейская ночь») (*Brown* 1984: 53) противоречат утверждению Ходасевича, зарегистрированному Берберовой. Очевидным примером двойной экспозиции является «Лолита» Набокова. Написанный человеком с самосознанием изгнанника, этот американский бестселлер повлиял на артикуляцию культурного мифа послевоенной Америки как страны мотелей, «diners» и сексуально озабоченных девочек-подростков. Иностранец со специальной линзой, позволяющей оstrarять мир, оставил отпечаток на нескольких поколениях американских нимфеток (термин, введенный Набоковым). Итак, нимфетка была выдумкой американского писателя, вышедшего из русской культуры, державшей литературную эротику под запретом до совсем недавнего времени.

В современной эмигрантской литературе конфронтация между русским языком и условиями американской жизни получила ярчайшее выражение в книге Эдуарда

Лимонова «Это я — Эдичка», задуманной как «Лолита» «третьей волны». В своем автобиографическом романе Лимонов выработал новую, острающую форму русского языка для воссоздания и, одновременно, деконструкции эмигрантской жизни. Герой романа — русский поэт — неудачник, живущий в Нью-Йорке; сюжет — болезненная, грязная история незамеченности, потерянной любви и потерянного социального статуса, разворачивающаяся на фоне американского города, с его реалиями секса, денег, насилия и расовых конфликтов. Среди авторских приемов — наложение английского языка на русский, создающее эффект гибридного языка, который соответствует раздвоенности сознания героя. Эта стратегия обратна набоковской. Набоков проецирует родной русский язык на английский, прибегая, в частности, к игре слов, понятной лишь двуязычному читателю, а иногда только полиглоту. Блестяще образованный русский аристократ, Набоков с детства знал три иностранных языка, включая английский. В отличие от лимоновской двойной экспозиции, приемы Набокова отражают его спокойное отношение к вопросу об «identity» и к жизни за границей. Это особенно заметно в «Аде», где русская языковая патина отражает скрытое чувство превосходства автора над большинством американцев, не знакомых ни с каким языком кроме родного. Лимонов, напротив, воспринимает американскую действительность не с аристократического плато, но с точки зрения человека, чье социальное положение и языковые возможности проблематичны как по этническим, так и по классовым причинам.

Эпизод «Это я — Эдичка» открывается сценой, которую можно рассматривать, как социальный анализ языковой двойной экспозиции для эмигрантов третьей волны, а также как метаписание авторской задачи перевода своего видения мира на язык художественной литературы. Демонстрируя разрыв между мифической «американской мечтой» и своей жизнью на пособие социального обеспечения, Эдичка приносит в свое худшее жилье роскошный американский журнал, чтобы излучать по нему английский язык. «Вы вместе длинный жаркий день вокруг бассейна и Вы склонны, готовы

иметь Ваш обычный любимый напиток, но сегодня вы чувствуете желание заколебаться. Итак, вы делаете кое-что другое. Вы имеете Кампари и Оранджус взамен...» Таков безграмотный, буквальный перевод начала рекламы престижного итальянского напитка Кампари, привлекшей эдичкино внимание. (По-английски реклама, вероятно, звучала бы так: «You are having a long hot day around the pool, and you are ready to have your usual favorite summer drink. But today you want to vacillate. So, you do something different. You have Campari and orange juice instead»). Стиль жизни преуспевающего американца, который для Эдички связан с Кампари и бассейнами, доступен ему только на словесном уровне. Это деформирует речь героя, делает ее гибридным, или эмигрантским, вариантом русского языка. Когда Эдичка мысленно возвращается к своему приниженному нью-йоркскому существованию, его язык сохраняет семантический и синтаксический отпечаток рекламы Кампари: «Я никогда не имел длинного жаркого дня вокруг бассейна. Признаюсь, что никогда в жизни не купался в бассейне. Я имел вчера холодное отвратительное утро возле Велфер — центра на 14-й улице...» (Лимонов 1979: 277)<sup>9</sup>. (Английский подстрочник должен выглядеть приблизительно так: «I never had a long hot day around the pool. I admit that never in my life have I bathed (Лимонов использует русское «купаться» вместо английского «плавать») in a swimming pool. I had a cold miserable morning around the Welfare Center on 14th Street yesterday»). Сопоставление языковых стратегий Лимонова и Набокова еще раз указывает на классовые различия. Лимонов создает пограничный язык, который отражает положение иммигранта, живущего в изгнаническом зиянии или в иммигрантском котле, потерявшего родной язык и неспособного приобрести новый. Набоков, напротив, хранит свой любимый родной язык в неприкосновенности, лишь для призванных открывать его лежащим под покровом своей изысканной английской речи.

В русской культуре существует литературная традиция изображения загрязнения русского языка иностранными заимствованиями, отражающая кризис русского самосознания перед лицом западных влияний. Наиболее

очевидные примеры — сатирическое изображение галломании Сумароковым и Фонвизиним, Толстым и Козьмой Прутковым. Англицизмы, использованные Маяковским в стихотворениях «Бродвей», «Барышня и Вульворт» и «Американские русские» в качестве авангардной языковой игры, также функционируют как сатирический прием. У Маяковского сатира направлена на русских, потерявших за границей свое национальное самосознание. В отличие от его предшественника-авангардиста, у Лимонова ангажированная русская речь отражает экзистенциальные черты жизни в эмиграции. В процитированном выше отрывке ангажированное использование «иметь/не иметь» передает присутую герою грандиозную и одновременно инфантильную мечту о власти и отчаяние лишенца. Оттенки значения, связанные с владением, ослабленный в английском различными вспомогательными функциями глагола «иметь», в русском является основным и несет дополнительные сексуальные коннотации (иметь женщину). Фраза «вокруг бассейна» также семантически нейтральна в языке оригинала, а в русском вызывает представления об обширном просторстве. Таким образом, на глубинном уровне английская речь Эдички, искаженная наложением русских значений на инородные модели, подчеркивает униженное положение героя.

В отличие от Лимонова, Бродский<sup>10</sup>, следуя за Набоковым, смотрит на свое изгнаническое существование с олимпийской высоты. Овладев, как Набоков, английской прозой, Бродский выбрал элегантный, интеллектуально рафинированный английский для описания своего ленинградского детства и своих родителей в мемуарном эссе «Полторы комнаты». («A Room and a Half»). Результатом этого явилось приближение русской жизни к английскому читателю и остранение ее для русской аудитории. В творчестве Бродского эмигрантское существование поднимается над бытовыми, культурными и языковыми реалиями и предстает как отвлеченное философское состояние. Вместо борьбы с языковыми лишениями и социальной маргинальностью, Бродский в возвышенном стиле размышляет о политических импликациях двух языков, взвешивая их сравнительную экзистенциальную ценность:



I want Maria Volpert and Alexander Brodsky to acquire reality under «a foreign code of conscience.» I want English verbs of motion to describe their movements. This won't resurrect them but English grammar may at least prove to be a better escape route from the chimneys of the state crematorium than Russian. To write about them in Russian would be only to further their captivity. ... I know that one shouldn't equate the state with language but it was in Russian that two old people... were told repeatedly, for twelve years in a row, that the state considers... a visit [to see their son] «unprofitable.»... May English then house my dead [parents]. In Russian I am prepared to read, write verses or letters. For Maria Volpert and Alexander Brodsky, English offers a better semblance of an afterlife, maybe the only one there is, save myself (Brodsky 1986: 460-461).

(Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели жизнь в «иностранном кодексе совести». Я хочу, чтобы английские глаголы описывали их движения. Это не воскресит их, но, по крайней мере, английская грамматика может оказаться лучше русской для побега из труб государственного крематория. Писать о них по-русски означало бы лишь продлевать их пленение... Я знаю, что нельзя приравнивать язык государству, но именно по-русски двум пожилым людям... в течение двенадцати лет повторяли, что поездка к сыну «нецелеобразна». Пусть же английский язык хранит моих умерших. По-русски я готов читать, писать стихи и письма... Но для Марии Вольперт и Александра Бродского английский будет лучшим подобием бессмертия, и, может быть, единственным — кроме жизни во мне).

Для Бродского русский язык — поэзия и интимное общение, его «капсула» и судьба, а английский обладает живой способностью освобождать. Использование английского языка как языка свободы для всех народов и рас выдает в Бродском иммигранта и отражает его иммигрантскую идеализацию Америки, контрастирующую с ироническим видением Набокова, так же как и с лимонновской подрывающе непривлекательной картиной американской жизни. Хотя родители Бродского, подобно Эдичке, приобщаются к американской мечте только на уровне дискурса, они были подвергнуты лишениям не

американским, а советским обществом. В воображаемой Америке, которую они никогда не увидят, их английский язык навсегда останется чистым и элегантным, никогда не опускаясь до убогого наречия русского иммигранта. Наследник традиций Серебряного века и патристической линии русского модернизма, Бродский возвышает иммигрантское существование, клишированные идеальные образы Америки, изношенные временем клише смерти, массового уничтожения евреев и советского ига. Лимонов, принадлежащий к авангардной линии, восходящей к Маяковскому, грубо и разрушительно обращается с болью и лишениями иммигрантской жизни.

\* \* \*

В отношении современной эмигрантской литературы естественно возникает вопрос: не сдвинулся ли центр русского изгнаннического сознания? Остается ли язык в основе эмигрантского самосознания? Ответ: конечно, — остается! Но и другие формы острашения внедряются в эмигрантскую литературу. (Уже в романах Набокова тема языка выступает рядом с темой тела изгнанника). Аналогичное явление мы наблюдаем в романе «Это я — Эдичка». Живя в условиях языковых и материальных лишений, Эдичка экспериментирует со своим телом не менее смело, чем с языком. В романе дионисийское тело находится в оппозиции к аполлоническому языку и аполлоническим формам языковой организации. Будущий русский националист, Эдуард Лимонов, возвратившись в Россию сторонником Жириновского и основатель Национал-Большевистскую партию, описывает экспатриацию и потерю героем родного языка и культуры в половом, а не только лингвистическом плане. Наиболее яркая метафора кастрации — в утрате Эдичкой его красавицы-жены, ушедшей в капиталистический мир.

Но это — лишение, выпадающее на долю любого человека. Важнее авторское описание эмигрантского сознания в отношении к сексу и гендеру. В романе Эдичка возвращается к жизни в результате гомосексуального соития с молодым негром в темное нью-йоркского

парка. Этот эпизод символизирует превращение Эдички в женщину, но на этот раз в руках мужчины-негра. В теоретических терминах принятие геросм женской сексуальности и его представление о себе как о материнском чреве соответствует современным западным идеям о различных пограничных состояниях, связанных с половой неопределенностью и с ощущением тела как носителя пола, а не с географическими границами. В темноте нью-йоркской ночи Эдичка предстает одновременно как мужчина и женщина. Это открытие подготовлено предыдущей сценой ритуального трансвестизма.

Роман Саши Соколова «Палисандрия» (1985), написанный в Лос-Анджелесе и Вермонте, частично — в ответ на «Это я — Эдичка», представляет собой мегалитературную вымышленную автобиографию Палисандра Дальберга, кремлевского сироты, изгнанного из страны, в которую он возвращается триумфатором (Соколов 1985)11. В отличие от Лимонова, использующего традиции современного психологического реализма, Соколов, ставший писателем в эмиграции, прибегает к гротескному описанию изгнаннического сознания. Хотя текст переиhrывает многие знакомые последствия изгнания, самое яркое из них касается тела. Соколов преподносит читателю изгнание через неожиданное описание гермафродитизма тела героя, которое является источником его разнообразных половых удовольствий а также его фантастической политической власти. Так как жанр романа — псевдовоспоминания, рассказ идет от первого лица, чей пол становится средним, когда сюжет переносит Палисандра в транс-половое изгнание. Изменение пола героя-рассказчика — единственное языковое последствие заграничной жизни. В остальном речь романа остается чисто русской, хотя и преувеличенно изысканной.

Моделирование изгнаннического самосознания на основе постмодернистских идей о поле может быть наиболее ярко представлено в рассказе Александра Жолковского «Родословная» (Жолковский 1991), написанном в Лос-Анджелесе как ответ и Лимонову и Соколову. К взаимосвязанности между полом и языком Жолковский добавляет генеалогию с тем, чтобы показать, что модернистская одержимость идеей происхождения (в «Родо-

словной», связанной с темой этимологии и анатомии) не находит места в сконструированном мире эмигранта. Здесь, в отличие от «Палисандрии», пол и язык не приносят наслаждений. «Родословная» населена новым типом русских и нерусских людей диаспоры, пол и происхождение которых неопределенны. Хотя рассказчик использует грамматические формы женского рода, его пол и происхождение остаются неясными. Гражданин(ка) мира, он(а) чувствует себя одинаково удобно в Москве, Париже и Нью-Йорке, в Рязани, Белладжии и Блумзбери. Московский бабник и городской завсегдатай, порождающий повествование, но лично в нем не фигурирующий, растворен во внеполовом языковом тумане диаспоры. Таинственный доктор Орландо выступает как двуязычный каламбурист и лингвист-путешественник, чей пол остается загадкой не только для его московских друзей, но и для самого автора.

На смену сушностному миру московской богемы Лимонова и Соколова и структуралистскому прошлому Жолковского пришло постмодернистское конструирование. Вряд ли найдется лучший способ порождения нового самосознания, этого вечного объекта вождления эмигранта, чем посредством создания нового тела и неопределенного гендера. Если не в реальном мире, то пусть в плане остранения. Иными словами, некоторые авторы «третьей волны» остраняют не только вербализирующий изгнанническое сознание язык, но и само тело экспатрианта. Тело гермафродита, одновременно и женское и мужское, можно считать независимым и самодостаточным. Оно символизирует преодоление проклятой раздвоенности сознания, связанной с изгнанием. Симптоматично и то, что не исходя ни из феминистского, ни из гомосексуального мировоззрения, эти писатели пересмысляют анатомию тела и тем — участвуют в феминистском и гомосексуальном проекте освобождения тела от патриархальных ограничений и пересмысления его анатомии. Перефразируя Бродского, можно сказать, что «транс-половое» тело изгнанника становится и щитом и мечом, попеременно символизируя травму изгнания и орудие ее преодоления.

## Примечания

<sup>1</sup> Одним из прецедентов массовой литературной эмиграции в XIX в. была польская эмиграция, последовавшая за восстанием 1831 г. Между 1831 и 1836 гг. Милкевич, Немцевич, Словацкий, З. Красинский, М. Мохнацкий, Ю. Залеский, а позднее и С. Гошинский и Ц. Норвид жили и продолжали творческую деятельность в эмиграции. См.: *Vagabond* 1984: 143–150.

<sup>2</sup> В период между мировыми войнами, кроме немецкой, возникли также итальянская и испанская литература в эмиграции. Последняя отличалась тем, что наша читателей среди испаноязычного населения Латинской Америки. После Второй мировой войны возникли польская, чешская, сербская и хорватская литература в эмиграции.

<sup>3</sup> Приводим список авторов трех эмиграций.

Первая эмиграция: Аркадий Аверченко, М. Агеев, Георгий Адамович, Марк Алданов (Нандау), Лидия Алексеева, Алари (Марк Цейтлин), Александр Амфилопов, Леонид Андреев, Юрий Анненков, Михаил Арцыбашев, Константин Бальмонт, Нина Берберова, Иван Бунин, Давид Бурлюк, Борис Буткевич, Владимир Вейдле, Сергей Волконский, Гайто Газданов, Александр Гингер, Зинаида Гиппиус, Михаил Горький, Роман Гуль, Дон Аминадо (Шполянский), Борис Зайцев, Евгенний Замiatин, Владимир Злобин, Михаил Иванович, Вячеслав Иванцов, Георгий Иванов, Юрий Иваск, Довид Кнуг (Фихман), Александр Кондратьев, Владимир Корвин-Питровский, Петр Краснов, Владимир Крымов, Галина Кузнецова, Александр Куприн, Александр Кузнецов, Антонин Лапинский, Вячеслав Лебедев, Сергей Макаровский, Виктор Мамченко, Юрий Мандельштам, Мать Мария (Елизавета Скобцова), Дмитрий Межеровский, Николай Минянский (Виленькин), Сергей Минцлов, Павел Муратов, Владимир Набоков (Сирин), Едлокия Нагродская, Арсений Неселов, Юрий Одарченко, Ирина Одоевцева, Михаил Осоргин (Ильин), Николай Одул, Валерий Перелешин, Георгий Песков (Дейша-Сиюнская), Владимир Познер, Борис Поплавский (Безобразов), Петр Потемкин, София Претель, Анна Приманова, Георгий Раевский, Алексей Ремизов, М. Россиянский (Линн Зак), Иван Савин (Саволайнен), Игорь Северянин (Иотарев), Владимир Смоленский, Федор Степун, Странник (Дмитрий Шаховской), Екатерина Таубер, Юрий Фельден (Фрейдентштейн), Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Лидия Червинская, Саша Черный (Гликберг), Игорь Чиннов, Евгений Чirikov, Николай Чурак, Сергей Шарпун, Иван Шмелев, Анатолий Штейгер, Василий Шугльгин, Александр Эйнер, Семен Юшкевич.

Вторая эмиграция: Василий Алексеев, Геннадий Андреев (Хомяков), Ольга Анстей, Родион Березов (Акулынин), Николай Бернер, Элла Боброва, Иван Буркин, Ирина Бушман, Глеб Глинка, Зинаида Гротская, Иван Елагин, Олег Ильинский, Дмитрий Кленовский (Крайковский), Григорий Климов, Михаил Коряков, Алла Кторовая, Сергей Максимов, Юлия Марголина, Владимир Марков, Николай Моршен (Марченко), Николай Нароков (Марченко), Леонид Ржевский, Александр Ростовский, Владимир Самарин, Виктор Свен, Юрий Грубецкой,

Николай Ульянов, Татьяна Фесенко, Борис Филиппов, Борис Ширяев, Алла Шинкова, Георгий Эрстов.

Третья эмиграция: Василий Аксенов, Юз Алешковский, Андрей Амарлик, Герман Андреев, Василий Бетаки, Дмитрий Бобышев, Николай Боков, Илья Бокштейн, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Юлия Вишневецкая, Лия Владимировна, Владимир Войнович, Анри Волохонский, Александр Галич (Гинзбург), Анатолий Гладилин, Наталья Горбаневская, Фридрих Горенштейн, Давид Дар, Вадим Делоне, Сергей Довлатов, Игорь Ефимов, Александр Жолковский, Руфь Зертова, Зиновий Зиник, Александр Зиновьев, Виолетта Иверни, Феликс Кандель, Лев Копелев, Наум Коржавин (Мандель), Константин Кузминский, Анатолий Кузнецов, Эдуард Кузнецов, Эдуард Лимонов (Савенко), Алексей Лосев (Лившиц), Аркадий Львов, Владимир Мамзин, Симон, Юрий Мамлеев, Татьяна Мамонова, Владимир Маразин, Юрий Милославский, Лев Навзоров, Виктор Некрасов, Валим Нечаев, Раиса Орлова, Леонид Плещ, Александр Половцев, Марк Поповский, Аркадий Ровнер, Феликс Розинер, Дмитрий Савицкий, Эфраим Севела, Андрей Синявский (Абрам Терц), Саша Соколов, Александр Солженицын, Илья Суслив, Эдуард Тополь, Виктор Уриц, Лев Халиф, Алексей Хвостенко, Михаил Хейфиз, Алексей Цветков, Ефим Эткинд, Сергей Юрьенен.

<sup>4</sup> Эмигранты потеряли связь с советской литературой и советской действительностью только а конце двадцатых годов. Между 1920 и 1924 гг. контакты между эмигрантами и советской литературной интеллигенцией были довольно регулярны. Берлин стал главным центром встречи двух ветвей русской культуры и главной ареной культурного сотрудничества. Берлинский журнал «Русская книга» проводил политику культурной преемственности и внешнеэкономической консолидации: «Для нас нет, в области книги, разделения на Советскую Россию и на эмиграцию. Русская книга, русская литература едины на обоих берегах» («Русская книга». 1921. I. С. 1).

См. посвященную русскому Берлину книгу: Флейшман и др. 1983; см. также: *Williams* 1972.

Горький, А. Белый, Шкловский и Эренбург жили в Берлине в начале двадцатых годов и занимали промежуточную политическую позицию между Советской Россией и эмиграцией, хотя все они, в конце концов, вернулись в Советский Союз. Пильняк, Пастернак, Есенин и Маяковский постоянно гостили в Берлине. Сменовеховцы, в прошлом участники Белого движения, позднее взявшие курс на восстановление культурных и политических связей с Советским Союзом, повлияли на решение Алексея Толстого вернуться на родину. Эмиграция культурных деятелей прекратилась в конце 1923 г., хотя Вячеслав Иванов выехал в 1924, а Замiatин — только в 1931 г.

<sup>5</sup> Первое издание истории Струве вышло в 1956 году в Издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. О незавершенности староэмигрантской литературы см. также: *Karlinsky* 1977: 7, 9.

<sup>6</sup> Кроме истории Струве, написанной по-русски, и англоязычной антологии Карлинского, на Западе вышло лишь очень небольшое число работ, посвященных русской эмигрантской литературе. См.: *Фостер*

1971; *Полторацкий* 1972; *Болдыт и др.* 1978:75-78; *Нива* 1981; *Pachmus* 1981; *Matich, Heim* 1984.

<sup>7</sup> *Soviet Russian Literature* опубликована в Англии в 1935 г. Второе дополненное издание вышло в 1944 г. под заглавием *25 Years of Soviet Literature*. В 1951 г. в США с новыми дополнениями книга вышла под заглавием *Soviet Russian Literature: 1917-1950* (Norman Oklahonoma University Press); следующее издание с дальнейшими дополнениями и изменениями довело историю советской литературы до 1953 г. и было опубликовано в 1971 г. Глеб П. Струве был сыном Петра Б. Струве, сначала легального марксиста и социал-демократа, позднее ставшего либеральным экономистом. В эмиграции Петр Струве был одним из лидеров умеренного консерватизма.

<sup>8</sup> Определение изгнания как языковой дислокации не распространяется на американских и ирландских литературных экспатриантов, живущих в Англии, для которых изгнание не было связано с языковыми проблемами.

<sup>9</sup> Обсуждение романа Лимонова см.: *Matich* 1986: 526-540.

<sup>10</sup> Из всех известных писателей третьей волны только Бродский и Лимонов англоязычили свои имена для нерусскоязычной аудитории. Бродский вместо русского Иосиф (Iosif) избрал английское Joseph, Лимонов сменил Эдуард на Edward.

<sup>11</sup> Обсуждение романа см.: *Matich* 1986: 415-426. Палисандр, пародийный герой романа Соколова, - русский поэт и будущий вождь нации. Как и Ленин, Палисандр триумфатором возвращается из эмиграции на родину. В качестве последнего изгнаннического подвига, Палисандр собрал останки знаменитых русских, похороненных в диаспоре. Соколов пародирует эпизод из мемуаров Нины Берберовой, где описан ее сон, в котором на одном из петербургских вокзалов она встречает останки Холасевича, Бункина, Рахманинова и других эмигрантов. В «Палисандрии» поезд привозит останки Герцена, Огарева и многих других русских эмигрантов для погребения на родине.

### Библиография

- Берберова* 1983 — Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. Изд. 2. New-York: Russica Publishers, 1983. Т. 1. Р. 267-274.  
*Болдыт и др.* 1978 — Болдыт Ф., Сегал Д., Флейшман Л. Проблемы изучения литературы русской эмиграции первой трети XX в. // *Slavica Hierosolymitana*. 1973. No 3. P. 75-78.  
*Вейдле* 1972 — Вейдле В. Традиционное и новое в русской литературе // *Русская литература в эмиграции* / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972.  
*Жолковский* 1991 — Жолковский А. НРЗБ: Рассказы. М.: Б-ка альманаха Весы, 1991.  
*Лимонов* 1979 — Лимонов Э. Это я — Эдикка. New-York: Index Publishers, 1979.  
*Набоков* 1988 — Набоков В. В. Машенька, Защита Лужина, Приглашение на казнь, Другие берега (Фрагменты): Романы. М., 1988.  
*Нива* 1981 — Нива Ж. Одна или две русских литературы? L'Age d'homme, Genève, 1981.

*Полторацкий* 1972 — Русская литература в эмиграции / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972.

*Соколов* 1985 — Соколов Саша. Палисандрия. Ann Arbor. Ardis Press, 1985.

*Струве* 1956 — Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956.

*Струве* 1984 — Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Изд. 2. YMCA Press, Paris, 1984.

*Флейшман и др.* 1983 — Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин: 1921-1923. YMCA Press, Paris, 1983.

*Фостер* 1971 — Фостер Л. Библиография русской зарубежной литературы: 1918-1968 гг. Boston: K. G. Hall, 1971.

*Варанцзак* 1984 — Varanctzak S. Polish Emigre Literature and the Romantic Tradition // *Humanities in Society* (special issue., Soviet and East European Literature in Exile, guest ed. Olga Matich). 1984. No 3-4. P. 143-150.

*Brodsky* 1986 — Brodsky J. A. A Room and a Half. Less Than One: Selected Essays. New-York: Farrar Straus Giroux, 1986.

*Brodsky* 1988 — Brodsky J. The Condition We Call Exile // *New-York Review of Books*. 1988. No 34. 21 Nov.

*Brown* 1963 — Brown E. Russian Literature Since the Revolution. 1963.

*Brown* 1982 — Brown E. J. Russian Literature Since the Revolution. Ed. 2. Harvard University Press, Cambridge, 1982.

*Brown* 1984 — Brown E. J. The Exile Experience // *The Third Wave: Russian Literature in Emigration*. 1984.

*Karlinsky* 1977 — Karlinsky S. Foreword: Who Are the Emigré Writers? // *The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922-1971* / Eds. S. Karlinsky, A. Appel. Jr. Berkeley: California University Press, 1977. P. 5-9.

*Matich, Heim* 1984 — *The Third Wave: Russian Literature in Emigration* / Eds. O. Matich, M. Heim. Ardis, Ann Arbor, 1984.

*Matich* 1986a — Matich O. The Moral amoralist: Edward Limonov's Eto ja — Edichka // *Slavic and East European Journal*. Vol. 30. 1986. No 4. P. 526-540.

*Matich* 1986b — Matich O. Sasha Sokolov's Palisandria: History and Myth // *The Russian Review*. Vol. 45. 1986. No 4. P. 415-426.

*Pachmus* 1981 — *A Russian Cultural Revival: A critical Anthology of Emigré Literature before 1939* / Ed. T. Pachmuss. University Knoxville, of Tennessee Press, 1981.

*Struve* 1954 — Struve G. P. The Double Life of Russian Literature // *Books Abroad*. 1954. 28, autumn. P. 406.

*Williams* 1972 — Williams R. C. Culture in Exile: Russian Emigres in Germany 1881-1941. Ithaca: Cornell University Press, 1972.